

нутые им результаты несомненны и бесспорны во всех случаях, где они опираются на тщательно интерпретируемый текст. Так, в целом можно считать вполне доказанным существование специфической «модели» трагического персонажа в трагедиях 30-х — начала 20-х годов, ее модификацию и отмирание в более поздних произведениях. В них, в свою очередь, убедительно прослежены признаки «нового стиля», намечающийся переход к эстетике эллинизма. Не вызывает возражений также трактовка значительного ряда общественно-политических явлений и событий в Афинах последней четверти V в., и в том числе связанная с ними датировка многих трагедий Еврипида. В тех же случаях, когда нельзя согласиться с Ди Бенедетто, слишком настойчиво постулирующим разрыв драматурга с современной ему действительностью или стремящимся установить прямое и непосредственное воздействие политического опыта Еврипида на его художественное мышление, надо тем не менее воздать должное самостоятельности и нестандартности его исследовательской концепции.

В. Н. Ярхо

R. MARTIN, Recherches sur les agronomes latins et leur conceptions sociales et économiques, Paris, 1971, XV+418 стр.

Мартен начинает «Введение» к своей книге словами Ж. Перре, одного из исследователей Вергилия: тот, кто занимается сейчас античной литературой (любой ее отраслью), должен «открыть душу веяниям нового времени» (стр. 1). Наше время требует внимания к вопросам экономическим и социальным, и Мартен ставит своей задачей «тесно связать агрономическую литературу с историческими обстоятельствами, среди которых она возникла, и поместить ее в рамки экономической и социальной эволюции древней Италии» (стр. 22). Он сумел вдвинуть каждого «агронома» в эти рамки и каждого связать с его классом. Широкий исторический горизонт, способность совершенно по-новому осветить вопросы, казалось бы давно и безапелляционно решенные, дыхание живой жизни, которым овеяны ее страницы — все это делает книгу не только содержательной и интересной, но и сообщает ей качества, которых в книгах по вопросам специальным вообще не бывает: своеобразную теплоту и привлекательность — ее не читаешь, с ней разговариваешь. Без этой книги не обойтись ни исследователю латинских «агрономов», ни читателю, интересующемуся хозяйственной и социальной историей Рима. Достоинства ее неоспоримы, и ее промахи и недостатки достоинств этих не умаляют. Промашки ее: во-первых, чрезмерная стремительность некоторых заключений, скорее декларлируемых, чем доказываемых, и во-вторых, малый учет сельскохозяйственных реалий. Мартена интересуют вопросы более широкие (и он иногда их блистательно решает), чем вопрос об обработке итальянского поля, но если бы он более конкретно представлял себе это поле, это избавило бы его от досадных ошибок. И ошибки эти в книге, незаурядно яркой и талантливой, ощущаются особенно остро.

Перечислив задачи, стоящие перед исследователем экономической и социальной эволюции древней Италии, Мартен переходит к первой части своего труда «Состояние латинской агрономии». Он отмечает во введении к этой части, что недостаточно отвести каждому латинскому «агроному» подобающее место в латинской агрономической литературе: надо эту самую литературу «вдвинуть в историю агрономии и сельскохозяйственной техники древнего мира» (стр. 3, 5). Что взяли римляне у Карфагена, Греции и Галлии? Карфагену посвящена первая глава, в которой автор занят преимущественно вопросом: что дала латинской агрономии сельскохозяйственная энциклопедия Магона, переведенная распоряжением сената по-латыни? (Из этого сочинения дошло до нас 25 коротких отрывков.)

Прежде всего, по мнению автора, Магон, а вовсе не Варрон, (как думают некоторые исследователи) был главным источником (*une source capitale* — стр. 48) для Вергилия, что совершенно ясно из описания телки (Georg. III, 52—55). Стих 53:

et crurum tenuis a mento palearia pendent
Подгрудок свисает от подбородка до голеней

взял не из Варрона, у которого сказано только: *a collo palea demissa* (R. r., II, 5, 7), но прямо из Магона, которого «в дословном переводе» (*traduction littérale*) дает Колумелла (VI, 1, 3): *palearibus amplis et pene ad genua promissis*.

Можно ли, однако, на основании единственной строчки делать столь широкий вывод? В «дословном переводе» Магона, который собирается вспомнить *memorabimus* Колумелла, бычки (не телки) отличаются между прочим «высокими, черноватыми и крепкими рогами» (*cornibus proceris ac nigrantibus et robustis*), а у Вергилиевой телки «рога закругленные» *camuris hirtae sub cornibus aures*. Вергилий списал у Магона одну подробность для экстерьера своей телки, а для характеристики рогов отправился на поиски другого источника? Обязательно ли всегда искать книжных заимствований? Неужели Вергилию, фермерскому сыну, жившему в деревне, нужно было рыться в Магоне или искать справок у Варрона, чтобы описать экстерьер хорошей телки? Не естественнее ли предполагать, что признаки ее перечислены *de visu*?

Вергилий в III книге «Георгик» ничего не говорит о свиньях, потому что о них не говорит и Магон: семиты-карфагеняне не ели свинины (стр. 49). Вергилий не пишет и об ослах, и о мулах, хотя о мулах Магон писал (Col., VI, 37, 3). Трудно говорить о том, чего касался и чего не касался автор сочинения, от которого дошли жалкие обрывки. Из того, что у Кассия, переводчика Магона, в таблице удобрений нет свиного навоза, нельзя заключать, что этот навоз не упомянут и у Магона. Кассий, прибавивший к Магону многое из греческих книг (Varr., R. r., I, 1, 10), мог взять свою таблицу у кого-либо из греческих авторов.

Мартен считает, что Колумелла относился к Магону «с восхищением почти безграничным» (стр. 44) и поместил его во главе всех сельскохозяйственных авторитетов (I, 1, 13): сначала помянута «толпа греков», затем в хронологическом порядке отечественные писатели, сначала прозаики, потом Вергилий, «наконец, достойно вспомнить Юлия Гигина, который был как бы его дядькой, и особенно почтим его, как и карфагенянина Магона, отца сельскохозяйственной науки... не меньшую, однако, похвалу заслужили и наши современники, Корнелий Цельз и Юлий Аттик». О Цельзе Колумелла отзывался так: «не могу достаточно удивиться тому, что Цельз ошибся и в своих выводах и в наблюдениях» (II, 2, 15); «Цельз не понимает, что доход от щедрого урожая покрывает все затраты на покупку крупных животных» (II, 2, 24); совет Цельза не мотыжить бобов он признает достойным «самого плохого хозяина» (II, 11, 6). Аттик рекомендовал «вредный способ» посадки виноградных чубуков (III, 18, 2). Оба эти писателя поставлены в один ряд с Магоном и заслуживают *non minorem tamen laudem*. Трудно говорить о «безграничном восхищении». Непонятно замечание Мартена: «Колумелла, по-видимому, проводит довольно четкую разницу между разными пуническими трактатами и Магоном» (стр. 51). Магон был единственным пуническим писателем, переведенным по-латыни (Plin., NH, XVIII, 22). Можно смело утверждать, что ни римляне последнего века Республики, когда писал Скрофа, поминавший *Poeni ex Africa scriptores* (Col., I, 1, 6), ни современники Колумеллы пунического языка не знали и могли читать только перевод Магона, который собрал воедино *res dispersas* (Varr., R. r., I, 1, 10). Черпал он из книг своих предшественников-земляков и поминал их в своей энциклопедии? Возможно. Несомненно, во всяком случае, что Магон и только Магон был доступен римскому читателю.

Следующая глава посвящена Греции. Из тех десятков греческих писателей-агрономов, которых называют Варрон и Колумелла, до нас по существу ничего не дошло, и Мартен предполагает, что эту техническую литературу преимущественно эллинистического времени следует поставить в связь с развитием сельского хозяйства в ту эпоху (стр. 70). Греция, однако, дала Италии гораздо больше, чем могли бы дать эти узкоспециальные трактаты: тот жизненный идеал, который обозначался словами *mos maiorum* и подразумевал любовь к земле, к деревне, выработан в Греции — и как доказательство Мартен приводит Ксенофонта, рассуждения Аристотеля в «Политике» и Псевдо-

Аристотелевский «Экономик» (Мартен убедительно доказывает его принадлежность Феофрасту).

Не говоря уже о том, что ни у Аристотеля, занятого рассуждением о наилучшем классе народонаселения (VI, 2, 1), ни у Феофраста, повторяющего темы Ксенофонта, и занятого, как и Ксенофонт, вопросами организации сельского хозяйства, нет ни слова о любви к земле и деревне, естественно здесь задать вопрос: можно ли внушить пусть не целому народу, а хотя бы одному классу, хотя бы людям, которые читали по-гречески, — жизненный идеал, причем так, чтобы он оказался усвоен и сердцем и умом? В лучшем случае только литературно сформулировать то, что уже живет в сердце и уме читателей. В данном случае нет и этого. Любовь к земле и деревне в римском понимании *mos maiorum* была величиной, если можно так выразиться, производной: в основе того идеала, который обозначали словами *mos maiorum*, лежало представление о благородстве старинной жизни, строгой, бедной, простой и трудовой. Благодаря противоречиям, рассыпанным в «Земледелии» Катона, можно дать, хотя и бледную, картину этой жизни. Ее имел в виду Плиний Старший в своей «Естественной истории» (особенно в XVIII книге). О ней Энний сказал, что «Рим держится старинными правами» (Cic., de rep. V, 1, 1); о ней вспоминал Плиний Младший (Ер. VIII, 14, 4—6).

От Греции Мартен переходит к Галлии. Перечислив технические достижения галльского хозяйства: жатвенную машину, борону, ¹ рало с колесным передком, сито из конского волоса, он обращается к «капитальной проблеме об отношении между рабством и техническим застоєм в области сельскохозяйственного оборудования» (стр. 77). Почему в Италии не использовали галльскую жатку? Борону? «Причину отказа от этих галльских усовершенствованных орудий следует искать в самой сущности рабовладельческого хозяйства: оно создало презрение к физическому труду, вызвало отказ от всяких технических усовершенствований». В Галлии эти усовершенствованные орудия появились именно потому, что большие имения галльских земледельцев, разделенные на участки, обрабатывались свободными колонатами; в Италии этих орудий нет, потому что здесь землю обрабатывали рабы.

В отказе итальянского хозяина от жатки и бороны рабовладельческое мировоззрение вовсе неповинно. Отказ был продиктован умным и трезвым учетом особенностей своего, итальянского, хозяйственного быта и склада. Обработка хлебного поля в Италии была кропотливым и сложным делом. Обработка югера земли под пшеницу, включая жатву, требовала по расчетам Колумеллы 10 1/2 дней (II, 12, 1) ¹. При такой агротехнике зерновое хозяйство могло быть только интенсивным: под зерновые культуры отводили небольшое число югеров. Зато дорожили каждым зерном; после жатвы работники проходили по полю, подбирая упавшие колосья (Varr., R. r. 1, 53). Оставшуюся на поле солому (в большей части Италии срезали только колос с частью стебля) скашивали месяц спустя: она шла на подстилку скоту (Cat., 39, 2), в корм волам (Cat., 54, 2; Plin., NH, XVIII, 370 — в Италии с кормами было плохо), соломой обертывали молодые деревца на зиму (Plin., NH, XVII, 16). Иногда солому сжигали, чтобы удобрить землю. Могли ли хозяева, так бережно относившиеся к зерну и так нуждавшиеся в соломе, пользоваться галльской жаткой? Е. Колендо в прекрасной статье, посвященной этой жатке («Appales», XI, 1960, стр. 1099—1144), указал ее недочеты: гребень, срывающий колосья, поставленный на определенном уровне, не мог сорвать колосьев ниже этого уровня; эти колосья и вся солома под колесами короба, под копытами животного, под ногами работника, превращалась в перепутанную, изорванную, втоптанную в землю, ни к чему и ни для чего негодную массу. Такая машина для итальянского хозяйства не годилась — и не потому, что хозяйство это было рабовладельческим, а потому, что при его потребностях и его особенностях, обусловленных свойствами климатическими и почвенными, она принесла бы только непоправимый убыток. Не годилась итальянцам и борона, которая разрушила бы на поле все гребни. (Напомним, что хлебное поле разделялось гребнями, на которых и рос хлеб.)

¹ Обработка десятины земли, т. е. площади вчетверо большей, брала в Северной Украине в начале нашего века 4—5 дней.

В этой связи стоит поставить вопрос: так ли примитивны и плохи были сельскохозяйственные орудия древних итальянцев? Русский помещик прошлого века мог выписывать плуги и молотилки от Сименса, в то время как его сосед-крестьянин трудился над сохой и вымолачивал хлеб цепом. Итальянский крестьянин и рабовладелец, хозяин того стоюгерного имения, которое было идеалом для дедов и прадедов Катона, обрабатывали землю одними и теми же орудиями: над их созданием трудилась мысль сотен поколений, от их совершенства и пригодности в данных условиях зависела жизнь хозяина и его семьи. Рабу вручалось орудие, придуманное свободным крестьянином, работавшим на своих нескольких югерах, совершенно такое же, как у его соседа, хозяина имения в 20—30 га. Свободная мысль и привычная к работе умелая рука творят чудеса. Таким чудом был объявлен недавно нож виноградаря, позволяющий — им одним — совершать шесть различных операций²; итальянское рало, которое особенно поносили немецкие ученые, утверждавшие, что пахать по-настоящему, т. е. переворачивая пласт поднятой земли, романский мир научился у них, у германцев, оказалось «идеальным орудием для тех областей, где хлеба растут в земле, смоченной зимними дождями, и созревают в жаркое сухое лето»³. Итальянская агротехника была продумана до мелочей.

Следующая, четвертая глава: «Агрономическая литература в Риме до Варрона. Катон и оба Сазерны» посвящена почти исключительно Катону. Мартен вполне прав, характеризуя Катона как «businessman», «главу предприятия», все мысли которого заняты наживой (стр. 86—87) и неправ, говоря, что «в плане техническом и агрономическом интерес книги весьма незначителен... из 170 глав только 60 касаются агрикультуры, и только читатель, совершенно невежественный в хозяйстве, мог научиться здесь чему-либо стоящему» (стр. 93). Такой превосходный хозяин, как Колумелла, говоря о том, чего требуют разные хлебные растения, по существу только повторил Катона. Агротехнических советов — как пахать, жать, молотить — действительно нет: нечего было учить людей тому, что они прекрасно знали, но на этом фоне особое значение получает настойчивое требование удобрять землю: старые хозяева считали это делом маловажным (Cat., 61, 1). А затем в «Земледелии» имеется полный курс маслиноводства. Мартен и не заметил этих фактов, и не объяснил их.

Вторая часть посвящена Вергилию — три главы: «Проблема „Георгик“»; «От „Буколик“ к „Георгикам“»; «Учение о труде» — самые блестящие страницы в книге Мартена. Я изложу его мысли не в порядке глав, а в порядке последовательности произведений Вергилия: с «Буколик».

Пастухи Вергилия отнюдь не повторяют собой пастухов Феокрита, но это и не мелкие земледельцы из долины По (ряд верных замечаний по этому поводу): Вергилий пересел пастухам крупных собственников-скотоводов, богатых *domini*, людей того круга, в котором вращался сам и для которого писал. «Идеал *vita otiosa*, явно просвечивающий в „Буколиках“, украшенный и преображенный магией поэта, есть идеал этого самого класса» (стр. 177). Многие из этих людей принадлежали вместе с Вергилием к кружку эпикурейцев, собиравшихся вокруг Филодема. Вергилий этого периода не обеспокоен экономическими проблемами, он уверен в правильности политики Августа и верит в наступление золотого века (стр. 180). С 40 г. все меняется: происходит конфискация земель в пользу ветеранов — мера, не имевшая никакого экономического смысла, разрушительная для сельского хозяйства и наносившая глубокую и несправедливую обиду классу, к которому Вергилий принадлежал по рождению: он чувствует нравственную обязанность защищать этот класс: в это время и написаны были I и IX эклоги, которые особо выделяли и до Мартена исследователи Вергилия. Первая эклога вовсе не гимн Октавиану: он ведь вложен в уста Титира, самой вульгарной фигуры из всех персонажей «Буколик»: эгоист, эпикуреец, для которого бедствия окружающих только фон, ярче оттеняющий собственное его благополучие. Вергилий осудил в его лице эпикурейскую философию, учеником которой был раньше; оставаясь, несомненно, приверженцем Августа, Вергилий уже не слепой и безусловный поклонник его поли-

² E. Denis., *Falx vinitoria*, RA, 41, 1943, стр. 163—176.

³ K. D. White, *Agricultural Implements of the Roman World*, Cambr., 1967, стр. 127.

тики. И еще одна подробность: под личиной пастуха Титира скрыты крупные скотоводы, оптимистически уверенные в будущем и в людях, стоящих у кормила правления; контрастная фигура к нему Мелибей: так же как и Межалк IX Буколки, он представитель класса земледельцев, который полон разочарования, недовольства и пессимизма. Эти эклоги уже перекидывают мост к «Георгикам» (стр. 177).

«Георгики» были политическим актом: они говорили о достоинстве земледелия и достоинстве земледельческого класса. Спрашивать, кого имел в виду поэт в своей поэме, крупных землевладельцев или мелких крестьян, значит не понимать его основной мысли: все земледельцы, независимо от их имущественного состояния, единый класс, единая армия, сражающаяся с природой на благо человечества, в противоположность армии военной, несущей с собой гибель и разорение, попирающей законы божеские и человеческие (*fas versum atque nefas* — Georg. I, 505): Вергилий настроен не просто пацифистски, «хочется сказать, что он антимилитарист» (стр. 127). Книга вторая, начинающаяся с 458-го стиха, «представляет собой хвалу и защиту сельской жизни» (стр. 136). Это изложение целого мировоззрения: вот идеи, развиваемые Вергилием: (1) жизнь в Риме суетна и пуста (461—466); (2) гораздо выше и предпочтительнее жизнь сельская (467—474); (3) есть, правда, третий вид жизни — жизнь ученого, и Вергилий, вспомнив, что он был учеником Эпикура и Лукреция, ставит ее как будто выше жизни земледельца (475—482). Поэт колеблется между этими двумя идеалами, но в конце концов «приходит к выводу, что суеверный и невежественный *rusticus* наделен мудростью, и мудрость эта может соперничать с мудростью Эпикура и Лукреция» (стр. 139).

Замыслом Вергилия, согласно Мартену, было написать «Георгики» в двух книгах, и замысел этот не был подсказан ни Меценатом, ни Октавианом. Поэта тревожила судьба земледельцев, и эту тревогу он, мастер завуалированных намеков, облек в лестную для Октавиана форму обращения к нему, уже обожествленному, уже занявшему место в Совете богов (Georg. I, 24—42). Традиционному объяснению этого места (Вергилий вполне уверен, что Октавиан будет спасителем италийского земледелия и земледельцев, разоренных войной) Мартен противопоставляет свое, абсолютно убедительное: Вергилий пишет, когда еще неясно, какова будет политика Октавиана (*incertum est*). Захочет ли он «навещать города, заботиться о земле, и мир признает его властителем урожая»; станет ли он морским божеством, «которому только и будут молиться моряки» или он займет место там, где в Зодиаке находятся Весы? Переведенная на прозаический язык политической терминологии эта символика означает, что перед Октавианом выбор: его политика может стать чисто италийской, будет занята экономическим развитием Италии, ее городов и сел; может стать завоевательной и покровительствующей заморской торговле и может, мудрая и умеренная, примирить в гармоническом синтезе оба пути. Вергилий откровенно указывает Октавиану выбор: «Пожалей селян, не знающих, какой путь ты выберешь» (I, 40—41): блистательное объяснение *ignaros viae*. «Георгики» имели целью оказать некоторое давление на официальную политику: «Пусть Рим меньше смотрит за море и больше на Италию» (стр. 150). Земледельческий класс может стать противовесом тем «капиталистическим» кругам, которые были так влиятельны в политической жизни Рима (стр. 149 и 151). Вот это заступничество за определенный класс, это прямое вмешательство в дела политические и не понравилось Меценату, представителю социальной группы, очень отличной от той, от имени которой говорил Вергилий: он принудил Вергилия добавить к двум книгам «Георгики» третью, посвященную крупному скотоводству, которым занимались владельцы латифундий. Для Вергилия «заказ» этот был тягостен (*haud mollia iussa*). И Мартен приводит ряд доказательств тому, что только III книга «Георгики» была подсказана Меценатом, и «Георгики» в двух книгах (I и II) по замыслу и композиции представляют собой законченное целое: (1) если бы Меценат был вдохновителем и первых книг, то, конечно, к нему следовало бы обратиться в начале поэмы, а не в середине ее; (2) последние слова II книги:

*sed nos immensum spatiis confecimus aequor
et iam tempus equum fumantia solvere colla*

«мы преодолели огромное пространство; пора распрячь лошадей, от которых валит пар» — понятны только как заключительные строки большой работы; (3) похвалу сельской жизни

ни естественно поместить в конце поэмы, прославляющей эту жизнь, а не в середине ее; (4) Вергилий в этих книгах пацифист; в III книге он славит завоевательную войну; (5) Вергилий не думал и не хотел писать о крупном скотоводстве уже потому, что интересы земледельцев и крупных скотоводов несовместимы: скотоводам безразлично, живет Италия собственным хлебом или привозным: их не беспокоит раздача земель ветеранам; война для них даже выгодна: легче сбывать скот; упадок земледелия их вовсе не беспокоит.

Остановимся на этих доказательствах:

(1) Меценат назван уже во втором стихе I книги: Вергилий ему излагает программу своей поэмы; II, 39: *tuque ades, inceptumque uia desurge laborem*: «и ты помоги мне, закончи со мной начатый труд» отнюдь не обязательно объяснять «по Мартену»: труд был начат без Мецената. «Предложил» ли, говоря словами Сервия, тему «Георгик» Меценат или нет, сказать трудно, но что он знал о работе Вергилия и ею интересовался с самого начала, это несомненно — иначе и обращение к нему в начале поэмы и II, 39—42 не имели бы смысла. (2 и 3) Мартен совершенно прав, говоря, что и похвалу сельской жизни можно было поместить только в конце II книги, и что два последние ее стиха — стихи заключительные. Поэт действительно завершил цельную, законченную в себе, часть поэмы. Покончено с рассказом о сельской жизни с ее ровным и мерным ритмом работы и отдыха, с ее безопасностью, спокойствием и уютом. Не деревня и усадьба с их территориальной ограниченностью, а немеряные просторы: *saltus et silvestria loca*; не однообразная, бестревожная деревенская жизнь, а существование, полное неожиданностей, опасностей, приключений; вместо мирных спокойных пахарей — пастухи, народ отважный, привыкший к своей трудной, но почти свободной жизни, склонный к мятежу и возмущению. С третьей книгой «Георгик» Вергилий вступал в мир, чуждый тому, которым был доселе занят и естественно было ему и прославить этот мир в конце II книги и проститься с ним заключительными стихами этой II книги. (4) Был ли Вергилий убежденным пацифистом? Во второй книге «Энеиды» он сумел изобразить войну со всем ее ужасом и злом, но в той же «Энеиде», думая об исторической задаче Рима: *pacique impropere potest*, он указывает путь ее разрешения: *pacere subiectius et debellare superbos* (VI, 851—853), т. е. путь завоевательных войн. Ср. еще VI, 794. (5) Если Вергилий хотел ограничить «Георгики» первыми двумя книгами, то как объяснить, что в самом начале I книги, давая «Оглавление» поэмы, он, назвав *segetes, vites*, продолжает содержание всех четырех книг. И речь идет не о приусадебном скотоводстве, а о крупном, кочевом: об этом свидетельствует обращение к Фавнам, Дриадам и Пану, т. е. к божествам *tex saltus et silvestria loca*, где пасутся эти огромные стада.

Прав ли Мартен, непримиримо разграничивая интересы земледельцев и скотоводов? На строгом разграничении скотоводства и земледелия настаивал Варрон (R. г., I, 2, 13). Это разграничение сделано по причинам чисто формальным. Разделять скотоводство и земледелие в реальной хозяйственной обстановке нельзя было уже потому, что хозяин имения часто был и владельцем больших стад. Таков именно и сам Варрон (R. г., I, 1, 11 и 2, прооет. 6), таким был и Атик. И крупному скотоводу было вовсе не безразлично, живет ли Италия своим хлебом или нет, сидит ли на земле хозяин, понимающий толк в своем деле, или гуляка-ветеран, забывший, как держать рукоятку плуга. Крупное скотоводство не могло обойтись без земледелия; об этом убедительно свидетельствует вторая книга Варрона. Пункт этот настолько важен, что на нем следует остановиться подробно. Баранов два месяца в году прикармливают ячменем (2, 13); ягнятам до четырех месяцев дают молотую вику (2, 16); свиньям обязательно дают «бобы, ячмень и прочий хлеб» (4, 6); быки получают мякину (5, 12); телятам с шестимесячного возраста дают пшеничные отруби и ячную муку (5, 17); кобылам после выжеребки добавляют к сену ячмень (7, 7); жеребят по возвращении в стойла с пяти месяцев кормят ячной мукой с отрубями. Годовалому жеребенку дают ячмень и отруби, пока он не перестанет сосать мать, т. е. до двухлетнего возраста (7, 11—12). поголовье стад и овец и крупного рогатого скота исчислялось в сотнях, стад у одного хозяина бывало несколько. Сотенными были и лошадиные табуны. Чтобы обеспечить это количество тем,

что давала хлебная нива, скотовод должен был, если местные условия позволяли, рядом с пастбищами завести полевое хозяйство. Так, вероятно, и было в Апулии. Если это оказывалось невозможно, то необходимо было иметь по соседству такие хозяйства, где можно было достать и муку, и отруби, и мякину: крупное скотоводство не могло обойтись без земледелия.

III книга «Георгик» продолжала ту же защиту земледелия и то же прикровенное требование «италийской» политики, которое с такой тонкой проницательностью открыл в этой поэме Мартен.

Последняя глава, посвященная Вергилию: «Философия труда». У Вергилия апология труда: Юпитер покончил с золотым веком, и это не наказание: он не захотел, чтобы его царство погружалось в безмятежное, бездеятельное счастье — в то состояние, в котором, по мнению эпикурейской школы, пребывают боги. Достоинство человека — в труде, в усилии, в борьбе — только они дают радость победы; только жизнь, исполненная труда и усилий, достойна человека. Глава эта принадлежит к числу лучших у Мартена; трудно пересказывать эти страницы, согласно продиктованные умом и сердцем: их хочется читать и перечитывать.

Переходим к Варрону.

Мартен считает, что его трактат о сельском хозяйстве представляет собой неуклюжее соединение трех книг, в разное время написанных, разных по своим установкам и своему духу, и своей композиции. Книга лишена единства: мог ли автор, только что провозгласивший, что земледелие должно иметь дело лишь с теми животными, с чьей помощью обрабатывается земля (I, 2, 20), и скотоводство ведению земледельца не принадлежит (I, 2, 13), тут же, в качестве второй части своего сочинения приступить к книге о скотоводстве?

Мартен не учитывает того, что все эти заявления имеют характер формально методологический — и только. Варрон писал первое научное сочинение о сельском хозяйстве, писал для людей своего круга, которые «в просвещении стояли с веком наравне», читали Аристотеля и Дикеарха и приучены были к строгой логике греческих произведений. Книги Катона и Сазерны, при всем богатстве их фактического содержания, казались им беспорядочной грудой случайных заметок — тут и домоводство, и медицина, и ветеринария — нет ни плана, ни системы. Такими казались они и Варрону, и он подверг их едкому осмеянию. «Земледелие» — это наука, *ars* (I, 3), и научная книга о земледелии должна заниматься только теми вопросами, круг которых очерчен самым именем этой науки; «из этой книги я вырежу все, что, по-моему, не относится к земледелию», пишет он (I, 1, 11). «Вырезыванье» относилось именно к книге, и ни в коем случае не было распространено на реальное хозяйство. Варрон, сам землевладелец и крупный скотовод, знавший насколько скотоводство, даже пастбищное, нуждается в том, что дает хлебная нива (см. II книгу его «Сельского хозяйства») никогда не разъединял в реальной хозяйственной жизни скотоводства и земледелия. Недаром же он вложил в уста своего тестя прелестное сравнение обеих этих отраслей с двумя дудочками, составившими единый музыкальный инструмент — тибью (I, 2, 15).

Продолжая идти в колее своей излюбленной мысли о несовместимости земледелия и скотоводства, Мартен настаивает на том, что II книга «Сельского хозяйства» была первоначально опубликована отдельно. До своего включения в полный свод «Сельского хозяйства» она и начиналась иначе, не с того предисловия, которое мы читаем сейчас: невозможно ведь совместить резкую критику крупного скотоводства в этом предисловии с высокой оценкой скотоводства в следующей затем I главе. Соединяя в одно произведение обе книги, Варрон прекрасно знал, что *agricolae*, враги крупного скотоводства, возмущенные объединением двух, враждебных одна другой, хозяйственных отраслей, обрушатся на него. Желая обезоружить своих критиков, он и занял своеобразную позицию: принципиально возражает против развития скотоводства в ущерб земледелию, но высказывается за объединение их в реальной хозяйственной обстановке (стр. 232—233).

Оставим в стороне эту, мягко говоря, странную принципиальность. Дело в том, что предисловие ко II книге содержит не критику крупного скотоводства, как такового

а критику людей, которые *ex segetibus fecerunt prata* (II, проом., 4). Этого ни в коем случае нельзя делать не только потому, что это *contra leges*, но и потому, что между обеими отраслями «большое содружество» *societas* — Варрон и задумал свою работу как изложение всех хозяйственных отраслей: за книгой о земледелии следовала книга о скотоводстве.

«Непримиримое различие» в композиции I и II книг заставляет Мартена считать их отдельными произведениями, а не составными частями одной и той же книги. Различие в том, что в I книге диалог ведут два человека, а во II — семь, что главы в I книге разной величины, а во II — они почти одинаковы. Различие требовалось экономией самих книг: во II выступает семь крупных скотоводов, знатоков своего дела: почему между ними и не поделить рассказ о разных животных? В I книге знатоков земледелия только двое, кому и говорить, как не им? Мартен сам указал, что Варрон придал своему трактату диалогическую форму, чтобы оживить свое изложение и придать ему некоторое разнообразие. Способы для этого у него были разные: и оживленная беседа, приправленная шуткой (особенно в III книге), и веселый обмен репликами, и распределение материала между разным числом лиц. Наличие двух участников диалога в I книге делало обязательным такое же число их и во II? Выведа в ней, непосредственно следующей за первой, семерых, Варрон вносил то разнообразие, которое было желательно.

Мартен считает, что при объединении этих разных книг в одно целое Варрону пришлось переделать первую главу I книги. Первоначальное построение главы (обращение к жене — §§ 1—3; обещание написать для нее «одну» книгу, а не «три», как вставлено позднее — § 4; обращение к богам, покровителям земледелия — §§ 4—6 — и, наконец, намерение пересказать недавние беседы о земледелии), искажено вставкой, втиснутой при позднейшей редакции (§§ 8—11: библиография, вторичное указание — теперь на три книги, из которых состоит вся работа, и перечень источников Варрона: собственный опыт, чтение, беседы со сведущими людьми). Глава — в ее нынешнем виде — лишена стройной и логической композиции. А каковы приемы композиции у Варрона? Мы их знаем? Мартен предлагает Варрону композицию, стройную и логическую, с его точки зрения, — путь скользкий. Мы знаем, во что превращался текст Катона, когда западные ученые стали давать ему уроки логики.

Мартен считает подтверждением своей мысли о одновременном написании трех книг «Сельского хозяйства» (причем одна от другой отделена значительным сроком) разную «тональность» книг I и III. Первая проникнута «старым римским духом» (стр. 220): Фунданий резко отзывается о современных роскошных усадьбах (I, 13, 6—7); в III выведены владельцы именно таких усадеб, и Варрон их не осуждает. Почему, однако, нельзя в сочинении, которое автор замыслил сразу как нечто единое, вывести людей разного духа? Осуждает роскошные усадьбы Фунданий — человек, поколением старше Варрона: действующие лица III книги его современники. Мартен вполне прав, говоря о том, как изменилось значение слова «вилла» (стр. 222); эволюция эта происходила на глазах у Варрона, и он ею не возмущался. Хозяйство имеет целью не только *utilitas*, но и *voluptas* (I, 4, 1) — он сам устроил под Казином свой знаменитый птичник (III, 5), *utilitas* которого была нулевой.

Варрон обещает посвятить три книги жене, между тем, как II и III книги посвящены другим лицам. Разве посвящение одному лицу исключает посвящение отдельных частей книги другим лицам?

Почему Мартен не верит Варрону, что он написал «Хозяйство» уже 80-летним стариком, т. е. в 36 г. до н. э.? Он мог отнести действие I книги к 58 г. и даже сказать, что передаваемые им разговоры велись «недавно» (*nuper*), хотя на самом деле писал книгу в 30-х гг. Разве писателю заказано отнести время действия своего произведения к любому времени, совершенно независимо от того года, когда он писал?

Вторая глава третьей части, посвященной Варрону, занята Скрофой. Мартен дал его характеристику, как организатора хозяйства, изложил его хозяйственную философию и определил место в истории итальянской агрономии. Характеристика написана прекрасно: убедительно, живо — и поражает тем больше, что от Скрофы не дошло ни одного подлинного отрывка. и то, что мы знаем о нем, сводится к весьма немногому:

думал, что земля истощается от усиленной обработки (Col., II, 1, 5) и требовал от хозяина знаний, средств и желания хозяйничать (Col., I, 1, 1), советовал брать на югер 4 модия бобов (Col., II, 10, 8), считал бараний горошек (cicer) и лен растениями, истощающими землю (Col., II, 13, 3); одобрял arbustum (Col., III, 3, 2), рекомендовал сажать лозы у подножия горы (Col., III, 11, 8) и обращать виноградники к югу (Col., III, 12, 5), считал, что у одной породы вязов нет семян (Col., V, 6, 2) и был превосходным садоводом, выращивавшим удивительные фрукты (Varr., R. г. I, 2, 10). Мартен, однако, нашел материал, дающий возможность живо представить фигуру Скрофы: оказывается, что все, что он говорит в I книге Варрона, это резюме его, Скрофы, произведений: «иначе непонятно, почему Варрон приписал ему этот ряд глав, а не указал бы на себя, как на их автора?!» (стр. 245) На каком основании не доверять словам Варрона об источниках его книги (чтение, собственный опыт, разговоры со знающими людьми — I, 1, 11)? Известна любовь Варрона к родным сабинским местам; его календарь работ (I, 28—36) дан с учетом их сельскохозяйственной практики; рало, которое он имеет в виду (нет подошвы — I, 19, 2; I, 29, 2), это рало, которым пахали в Сабинии и Умбрии. Есть ли у нас хоть малейшие данные считать Скрофу знатоком сельскохозяйственного облика этих мест и объяснить, почему именно им отдал он предпочтение? Если II книга — резюме произведения Скрофы, то зачем выведен Столон (гл. 24—26; 37, 4—56)? Варрон тоже пересказывает его советы? Развивая дальше мысль Мартена, мы приходим к выводу, что Варрон только исполнял роль магнитофона, передающего речи всех выведенных им лиц. Возможно ли это? Естественно было Варрону заставить рассуждать о хозяйстве превосходных хозяев-специалистов, оказывая им тем самым дань должного уважения и освящая их авторитетом собственные мысли. Разве в «De senectute» Цицерона Катон излагает свои мысли? Цицерон вложил в его уста свои собственные. Какие основания думать, что Варрон в своем трактате поступил иначе?

Колумелле посвящено три главы: Мартен изучает его философское, политическое и хозяйственное мировоззрение. Колумелла — стоик, друг Сенеки и последователь Панэтия: он верит, что творец мира наделил землю неиссякаемым плодородием (perpetua fecunditas); учение об истощении, «обветшании» земли кощунственно. В том, что сейчас урожаи стали меньше, виноваты люди: их невежественность и небрежность в уходе за землей. Хозяева забросили свои имения, поручив их нерадивым рабам. Чтобы вернуть земле ее прежнее плодородие, надо чтобы (1) хозяева были агрономически образованы, (2) жили в имении или, по крайней мере, часто наезжали туда, (3) имели возможность (facultas) и желание заниматься хозяйством. Колумелла убеждает хозяев не бояться трат, вкладывать в хозяйство деньги; он первый представитель «капиталистического» сельского хозяйства — Мартен сближает его с физиократами.

Эпикурейская теория о старческом бессилии и истощении земли заставляет Мартена вспомнить Скрофу, который приписывал истощение земли не тому, что она старилась, а тому, что от нее требовали высоких урожаев и «переутомили» ее усиленной и хорошей обработкой. Практический вывод отсюда — надо отказаться от интенсивного земледелия — был очень кстати крупным землевладельцам, превращавшим часть своих земель в saltus — пастбищные просторы: если их упрекали в том, что они оставляют пустовать часть своей земли, у них был готов ответ: они поступают так на благо итальянского земледелия, оберегая землю от истощения, неминуемо ей угрожающего при интенсивном хозяйстве (стр. 304). Колумелла возмущен: земля нуждается не в отдыхе, а в питании: «если она получает достаточную пищу, она не обнаружит ни усталости, ни старения и будет давать обильные урожаи». «Этот тезис влечет за собой вывод огромной хозяйственной важности: он полагал конец разрыву между земледелием и крупным скотоводством, saltus становились не нужны: стада можно было содержать в имении, и между земледелием и скотоводством устанавливались нормальные отношения» (стр. 305). Выгодно ли было в хозяйственном отношении превратить saltus в хлебные нивы? Могло ли итальянское скотоводство — при его размахе — все эти тысячные отары овец, табуны лошадей и стада крупного рогатого скота — обойтись без пастбищ, предлагаемых самой природой? И главное: можно ли было превратить горные пастбища Апеннин в хлебные нивы?

Политическая философия Колумеллы изложена в предисловии, которым он начинает свою первую книгу. Резкое осуждение завоевательной войны, как разбоя, и особенно морской торговли, которая нарушает законы природы (стр. 329), признание земледелия единственной деятельностью, согласной с *iustitia* — вся эта оценка произведена с позиций стоической школы и тут в идеологическом плане отражен политический и социальный конфликт: Колумелла — представитель класса, для которого источником богатства является земля; при Юлиях и Клавдиях класс этот оттеснен назад; опорой правительства являются армия и деловые круги, состоящие в основном из крупных торговцев-отпущенников. Эти круги исповедуют эпикуреизм разных оттенков. Филодем, философ-эпикурец, считал жизнь человека, связанного с землей, несчастной; Гораций в *Epist.* I, 7, 77 слл. (история Мены) ему вторит. Полемика между двумя философскими школами вполне доказательно объясняется явлениями социально-политическими (стр. 333).

Мартен считает Колумеллу крупным землевладельцем: это следует из его описания идеального поместья (I, 2, 3—5) и совета делить рабов на декурии (I, 9, 7, стр. 345—346). Но все хозяйственные статьи, перечисленные Колумеллой, можно было уместить и на 100 юг. того имени, которое было идеалом для дедов и прадедов Катона (ср. *Cat.*, I, 7 и *Col.*, ук. §§), и раскидать их на какое-то (вряд ли большое) число сотен югеров, как и было, вероятно, у Колумеллы. Мартен полагает, что он владел 1000 га, которые все (кроме какого-то участка под луг) хозяин возделывал руками своих рабов, причем, исходя из расчетов Катона, определяет их число в 300 человек (стр. 354, прим. 4). В дальнейшем он перечисляет выгоды и недостатки такого большого хозяйства (дороговизна рабов, опасность мятежа в их среде, обилие надсмотрщиков, которые сами ничего не делают); если к этому прибавить расходы на такую *familia rustica*, то вряд ли имение таких размеров, управляемое одним хозяином (а не разделенное, как у Плиния Младшего, между арендаторами-колонами) было выгодно, и сомнительно, чтобы Колумелла, хозяин разумный и расчетливый, надел бы на себя такое ярмо⁴.

Мартен справедливо считает Плиния противником Колумеллы, но вряд ли правильно обосновывает это положение: Колумелла писал для крупных землевладельцев; Плиний пишет для *agricolae*, мелких и средних землевладельцев, которым нужно «руководство краткое и простое» (стр. 379). Если такова была, действительно, задача Плиния, то трудно выполнить ее хуже: «краткое» руководство содержит 365 параграфов — больше ста страниц тейбнеровского текста; «простое» включает в себя: исторические справки из далекого и недавнего прошлого; переводы из Феофраста чисто ботанического содержания; сведения о заморских пшеницах и муке из них; справки о местных обычаях, географические экскурсы; календарь, требующий хорошего знакомства с астрономией. Прибавьте к этому трудный язык: выражения, которые надо распутывать; описания, требующие комментариев. Мелкий земледелец мог узнать больше полезного для себя из советов Колумеллы, деловых, систематически и ясно изложенных, свободных от риторических прикрас и экскурсов, прямого отношения к земледельческой практике не имеющих. «Простое руководство» по агрономии явно не удалось. Хотел ли Плиний его действительно написать? Не было ли у него другой цели? Его XVIII книга была прославлением жизненного уклада предков: это был нравственный урок, для которого сельский быт оказывался наиболее подходящим фоном, и урок этот предназначался, конечно, не для мелкого земледельца.

М. Е. Сергеев

⁴ Чтобы обеспечить такое число людей только хлебом, надо было засеять почти 200 га. Катон клал на раба (круглым счетом) 50 мод. пшеницы в год. $50 \times 300 = 15000$ мод. Возьмем урожай сам-4, хотя Колумелла и его считает редким; с га — 80 мод. (на юг. 5 мод. семян; урожай 20 мод.; с га $20 \times 4 = 80$). $15000 : 80 = 187 \frac{1}{2}$ га, возьмем 200 га, считая, что надо что-то и на хозяина с семьей и на *familia urbana*. Под семена для этих 200 га надо засеять еще 50 га (20 м семян на га $\times 200 = 4000$ мод.; $4000 : 80 = 50$ га). Итак, под хлебом 250 га (это при итальянской-то агротехнике!). Такое же количество земли должно лежать под паром. Половина имения используется для того лишь, чтобы накормить только хлебом *familia rustica*. Но ведь одного хлеба мало!

ДВЕ КНИГИ О ЗАПАДНЫХ РИМСКИХ ПРОВИНЦИЯХ

J. J. WILKES, *Dalmatia*, L., Routledge & Kegan Paul, 1969, XXVI+572 стр., 59 табл.; M. CLAVEL, *Béziers et son territoire dans l'antiquité*, P., «Les Belles Lettres», 1970, 664 стр.

Рецензируемые книги различаются между собой замыслом авторов: первая — очередной (второй) выпуск серии монографий по истории римских провинций — дает очерк целой провинции, вторая — небольшой колонии на территории Нарбонской Галлии. Но их сближает метод подхода авторов к материалу, чрезвычайно полно собранному и тщательно проанализированному, интерес к разным сферам жизни изучаемых областей, в частности к жизни местного населения. Соответственно обе работы дают основания для некоторых общих выводов.

Книга Д. Уилкса состоит из введения, 15 глав (о них см. ниже) и 15 аппендиксов (1. Римские военачальники, командовавшие в Далмации; 2. Наместники; 3. Легионы; 4. Военные дороги; 5. Межевые камни и споры о границах между общинами; 6. Набор в легионы в I в.; 7. Ветеранские поселения; 8—9. Вспомогательные части; 10. Набор во вспомогательные части; 11. Племена Далмации и источники о них; 12. Основание городов в Либурнии; 13. Императорские имена во внутренней Далмации; 14. Топография Лисса; 15. Импортные черепицы, амфоры и художественная керамика).

Во введении намечается основная цель работы — изучение различных сторон развития провинции, таких, как влияние армии и администрации как политической и социальной силы, урбанизация и распространение римского гражданства среди местного населения, состав высших классов римлян и аборигенов, характеристика отдельных городов и сельских поселений. Завершается введение географическим очерком Далмации.

В главе I «Греки в Далмации» собраны данные об отношении греков с известными им далматскими племенами начиная с VII в. до н. э., главным образом о торговых связях, по мнению автора, развитых незначительно, во всяком случае до IV в. до н. э., когда были основаны первые греческие колонии на Адриатике — Исса и Фарос.

В главе II «Иллирийское царство (230—167 гг. до н. э.)» рассматривается место царства Аргона из племени ардиеев в системе римско-македонских отношений.

Глава III «Рим и Иллирия (167—59 гг. до н. э.)» посвящена началу проникновения римского влияния, торгового и военного, в Далмацию. В этот период, заключает автор, Далмация была для римлян еще малоинтересна.

В главе IV «Иллирия в гражданских войнах (59—39 гг. до н. э.)» излагается история экспедиций против далматов в рассматриваемый период и действий помпеевцев и цезарианцев на территории Далмации.

Глава V «Завоевания Августа (35—9 гг. до н. э.)» продолжает предыдущую, заканчиваясь обращением Далмации в провинцию и подавлением панноно-далматского восстания.

Глава VI «Римская провинция и ее правители» посвящена истории наместников Далмации и смене стоявших в ней воинских частей, сперва легионов, затем вспомогательных отрядов. Автор отмечает, что при Юлиях — Клавдиях, когда в провинции стояли легионы, ее наместниками были опытные военачальники и администраторы. Затем с полным замирением провинции и выводом легионов наместники стали назначаться из числа людей малозначительных, в основном из италийских семей.

В главе VII «Римская армия в Далмации» детализируются сведения о стоявших в Далмации легионах и вспомогательных частях, их перемещениях, лагерях, участии солдат в строительных работах, ремесленном производстве, об этническом составе армии и постепенном проникновении в нее туземного населения, о расселении ветеранов, которые здесь не выводились в особые колонии, а получали наделы, вместе или порознь, в городах и канабах. До 42 г. большая часть ветеранов селилась в Нароне, затем в Салоне и Экве. В Далмации, заключает автор, роль ветеранов в развитии городов была невелика и совсем незначительна — в романизации глубинных районов. С конца I в., когда легионы были выведены из Далмации, здесь остаются только вспомога-

ные части. Их солдаты служили при наместниках, а также на постах бенефициариев, разбросанных как по большим дорогам, так и в других местах, где они, по предположению автора, заменяли римскую администрацию и представляли римскую власть среди местного населения. Подробный анализа эпитафий солдат и ветеранов приводит автора к выводу о том, что связи между военными и местным населением, во всяком случае в первые полтора века Империи, были довольно слабы. Лишь с середины II в. усиливается локальный набор в армию, но исключительно из городов. Только с середины III в. появляются солдаты из глубинных районов. Мало далматов было также среди преторианцев и других стоявших в Риме частей. Получая отставку, ветераны большей частью селились в городах, главным образом в Салоне, женились на своих отпущенниках, что подтверждает незначительность их контактов с гражданским населением.

В главе VIII «Местное население Далмации во время римского владычества» рассматриваются сведения об отдельных местных племенах и их организации. До римского завоевания значительная их часть в социально-экономическом отношении стояла на довольно примитивном уровне. О слабом развитии торговли свидетельствует незначительное количество найденных греческих монет, более многочисленных лишь на побережье, а также отсутствие монетной чеканки племен, за исключением монет дарсеев и иллирийского царства, монеты которого перестают обращаться после его гибели. С побежденных племен победители взымали дань скотом и зерном, а не деньгами. В глубинных районах высшим единством было племя. На юго-востоке, где под влиянием сношений с греками развитие шло быстрее, стали появляться цари, обладавшие верховной военной и гражданской властью, и племенная знать — принцепсы. В провинции мелкие племена побережья поглощались колониями. Другие конституировались в самостоятельные общины или в общины, входившие в состав других, более крупных племен. Некоторые управлялись римскими префектами, другие — своими принцепсами. Д. Уилкс анализирует данные о локализации отдельных племен, их этнической принадлежности (на основании охмастики, символики надгробий и алтарей), живучести племенных обычаев. О социально-экономических отношениях данных немного. По мнению Уилкса, земледелие стояло на невысоком уровне, урожай был невелик, виноделие вовсе не практиковалось. В гористых местностях преобладало скотоводство. Торговля во внутренних областях провинции была развита слабо, импортных вещей мало, — видимо, большинство общин сами удовлетворяли свои потребности. Автор приводит свидетельства о переделе земли у дельматов каждые восемь лет, о натуральном характере их экономики, о разбросанных по стране небольших деревнях, населенных сородичами, и городах, представлявших собой лишь укрепления на холмах. Настоящие города были только на юго-востоке, где урбанизация пошла очень быстро. В остальных районах основой организации оставались сельские и родовые общины с центрами в кастеллах. Когда провинция была поделена на племенные общины, они в свою очередь были подразделены на декурии (число их было очень различно, от 14 у деретинов, до 342 у дельматов), которые, по предположению автора, представляли собой территориально-родственные группы, взятые римлянами за основу для административного устройства страны. В эпитафиях встречаются упоминания племен, рода и центурии, к которой принадлежал покойный. Упоминаются также родственные группы со счетом родства по материнской линии. Возможно, такие родственные группы, декурии, центурии представляли собой большие семьи, совместно возделывавшие принадлежавшую им землю, имевшие общего родоначальника или родоначальницу, общий культ. В одной надписи упомянут жрец и декурин такой группы. Имя семьи или рода в эпитафиях часто стояло между именем покойного и его отца. В урбанизованных районах этот обычай постепенно исчезает, как думает автор, в связи с исчезновением групп сородичей. У тех племен, у которых знать (принцепсы) уже четко выделилась, она уже во время войн с Римом составляла проримскую партию, а затем быстрее всего романизировалась. Имеются сведения о том, что у некоторых наиболее сильных племен (например, либурнов и ардиеев) были клиенты типа илотов из числа покоренных племен, а также рабы. Однако для римского времени рабство

(и то преимущественно у италиков) засвидетельствовано в основном лишь в прибрежных районах.

В главах IX—XI даются подробные сведения по истории городов в разных районах Далмации: в Либурнии, Южной Далмации и внутренних областях страны. Приводятся даты основания колоний и муниципиев, рассматривается состав их населения, экономика, история развития и упадка. В городах Северной Либурнии надписи относятся в основном к I в. Они свидетельствуют о преобладании здесь италийских семей, хотя имелось и туземное население, придерживавшееся культа местных богов. В последующие века значение сохранил только город Сения, как один из крупных портов Адриатики. Наиболее урбанизована была Южная Либурния, где еще до римского завоевания стали возникать города и развиваться торговля. Здесь, в крупных городских центрах жило много италийских семей со своими рабами и отпущенниками, а также и местные уроженцы, получившие гражданство еще в I в. Некоторые из членов этих семей служили в армии, иные получали всадническое достоинство. Но и здесь с середины II в. число надписей резко сокращается. Старые семьи уже не упоминаются, почти исчезают надписи рабов и отпущенников; появляются новые люди из восточных провинций и из местных уроженцев, растет число надписей ремесленных коллегий, что, по мнению автора, говорит о вытеснении рабского труда свободным. Параллельно растет и число эпиграфических источников из сельских местностей. Очевидно, замечает автор, богатые люди в это время стали переселяться из городов в свои имения. В маленьких городках этого района проживали в основном римские граждане из местных уроженцев и перегрины. Здесь еще сохранялись следы родовой организации, доримского рабства, приверженность к местным культам. Некоторые из них служили в легионах и в когортах либурнов.

Из городов Южной Далмации особенно подробно рассматриваются Салона и Нарона. В Салоне в I — начале II в. ведущие семьи были из числа италиков, владевших многочисленными рабами и отпущенниками. С середины II в. территория Салоны расширяется за счет туземных кастеллей и в городе появляется много восточных и местных уроженцев. С этого времени здесь тоже сокращается число надписей рабов и отпущенников, в частности севиоров августалов, и растет число надписей свободных ремесленников, а также надписей из сельских местностей, в которых теперь чаще, чем раньше, упоминаются рабы. На территории Салоны известен ряд туземных общин — пагов и сел. В III в. некоторые из них получили статус городов. Из них дошли надписи декурионов и принцепсов, семьи которых принадлежали к местной верхушке и владели рабами. Сходной была история Нароны, но еще раньше, в середине II в. этот город теряет значение в связи с упадком торговли и переездом богатых семей в имения. В то же время выдвигается муниципий Доклея, жители которой получили гражданство при Флавиях и к III в. достигли значительного богатства и влияния.

Города внутренней части провинции изучены значительно хуже. Видимо, они быстрее развивались там, где не чувствовалась конкуренция больших прибрежных городов. Здесь тоже выдвигаются состоятельные люди. Так, среди яподов было много Юлиев, получивших гражданство в начале I в. Некоторые из этих Юлиев имели рабов. В области дельматов преобладали Элии, занимавшие во II—III вв. должности декурионов в тамошних городах. Один из них стал всадником. В кастеллах ведущую роль играли принцепсы. Судя по преобладанию здесь Аврелиев, римское гражданство жители кастеллей получили поздно. Земли их возделывали не рабы, а колонны, несколько надписей которых сохранилось. Во II—III вв. на внутренней территории провинции процветали в основном небольшие виллы, но были также имения всаднических и сенаторских семей, особенно выдвинувшихся в III в. Известны их рабы, отпущенники, виллики. Но даже там, пишет Д. Уилкс, где города возникали на основе местных поселений, уклад жизни изменялся мало. В культах и быту сохранялись старые традиции; люди, получавшие римское гражданство и муниципальные должности, в своих общинах продолжали играть такую же роль, как их предки до римского завоевания. Эволюция местных племен не подвела их к возникновению городов. Последние процветали, да и то недолгое время, лишь там, где конституировались как колонии итали-

ков. Там, где развитие шло без влияния италиков, правительство, стремясь заручиться преданностью местной знати, создавало города на базе племенных общин, давая принципам гражданство и магистратуры. Такие города развивались уже в более позднее время.

Глава XII «Высшие классы» суммирует уже встречавшиеся в предыдущих главах сведения о ведущих семьях Далмации из числа италиков и местных уроженцев. Здесь рассматриваются их родственные связи, распространение их влияния по разным городам и районам, надписи их рабов и отпущенников, из которых многие имели должность севиоров августалов. Особый интерес представляют данные о возвышении местных семей, начиная с получивших гражданство в первые годы I в. Некоторые из них делали карьеру благодаря связям в Риме, другие выдвигались на военной службе, занимая городские магистратуры. Автор приходит к выводу, что хотя на протяжении всего периода ранней Империи из Далмации выходили всадники и сенаторы, здесь не сложился слой крупнейших магнатов, увеличивавших свои богатства и влияние из поколения в поколение. Состояния были, видимо, сравнительно невелики, и процесс концентрации земли, столь характерный для некоторых других провинций, здесь не прослеживается.

Глава XIII «Город и деревня» построена на археологическом, пока еще довольно скудном, как отмечает автор, материале. Рассматриваются результаты раскопок городов и туземных поселений, сельских вилл разных типов. Найденные на виллах материалы показывают, что в III—IV вв. римская техника и латинский язык постепенно распространялись в самых глубинных районах провинции.

В главе XIV «Торговля» автор приходит к выводу, что обмен был развит в основном между прибрежными городами. Внутренние города, несмотря на их расцвет в конце II и III в., имели мало внешних контактов. Импортная массовая продукция постепенно вытеснялась местной. Ввозились в основном предметы роскоши и художественные изделия.

Завершается книга главой XV «Далмация в поздней Империи», содержащей краткий очерк истории Далмации вплоть до проникновения на ее территорию славян.

Монография М. Клавель, как уже упоминалось выше, посвящена только одному району Лангедока. Она открывается подробным обзором данных литературных и археологических источников о доримском периоде, начиная с I тыс. до н. э. Автор прослеживает развитие местного производства и торговли с Грецией, Этрурией, Испанией, кельтами из внутренних территорий Галлии, изменения в этническом составе населения в результате передвижений иберов и кельтов, социальный строй возникшей здесь общины вольсков, среди которой уже большое влияние приобрела знать, племенные вожди, подчинившиеся главному вождю. Далее рассматриваются взаимоотношения с Ганнибалом, начало торговых связей и военных столкновений с римлянами, судьба общины после возникновения провинции, восстания, вызванные ее хищнической эксплуатацией, участие населения в войнах Цезаря. Со времени Цезаря начинается процесс романизации — появляется много римских изделий, дома, построенные по римскому образцу. Тогда же (при Цезаре или Августе) основывается колония Юлия Бетерра, современный город Безье. Ее первоначальными поселенцами были ветераны VII легиона. И они, и их потомки проявляли особую преданность императорам династии Юлиев — Клавдиев, культ которых в Бетерре пользовался большой популярностью. Город был небольшим, но процветал еще и в V в., не пострадав даже от готов.

После этого общего очерка М. Клавель переходит к рассмотрению отдельных сторон жизни Бетерры и ее района на основании очень тщательного сопоставления и анализа всех возможных источников. Стремясь определить границы территории Бетерры, автор приводит как общие исторические и географические соображения, так и данные аэрофотосъемки и топонимики, собрав названия местностей, восходящих к кельтским и латинским терминам «граница», «рубеж», «межевой камень», хотя и оговаривает, что они могли быть связаны не с границами общины, а с границами отдельных пагов. Очень подробно приводятся археологические данные о величине и планировке города, его общественных зданиях, о виллах сельской территории, которых рас-

копано несколько сотен, причем многие из них существовали с I вплоть до IV—V вв. В связи с изучением вилл М. Клавель снова привлекает топонимику. Она определяет, что из местностей, название которых произведено от имен владельцев вилл, 20 восходит к доримским именам, 115 к туземным галло-римским (из них $\frac{1}{3}$ кельтские) и 103 к римским и итальянским. Лучшие земли, по наблюдениям автора, были отведены италикам, но сохранялось и туземное землевладение, притом отнюдь не всегда на худших землях. Сельское хозяйство — зерновые культуры, виноградарство, оливководство, скотоводство, насчитывавшее здесь много веков существования, процветало и в эпоху римского владычества прогрессировало вплоть до IV—V вв. Продукты сельского хозяйства, а также рыболовства и охоты предназначались на продажу. Из ремесел были развиты текстильное, керамическое (и в городе, и на виллах), стекольное, смолокурение, изготовление каменных мельниц, рыбных соусов. До середины I в. разрабатывались, судя по клеймам на слитках, компаниями вольноотпущенников и трудом рабов рудники, но затем они были заброшены в связи с импортом более дешевого испанского металла. Активная ремесленная деятельность не заглохла и в эпоху домината. Оживленной была торговля. Ввозились произведения искусства, вино, масло, бронзовые сосуды и художественная керамика, сперва из итальянских, затем из провинциальных центров. Экспортировались продукты питания, смола, минералы. Крупные торговцы, ведшие дела в разных городах, играли в Бетерре большую роль. Римские купцы в торговле с внутренними областями постепенно вытеснялись местными.

Специальная глава посвящена императорскому культу и его жрецам. Двое из фламинов были всадниками, один — воинским трибуном. За активное участие в императорском культе, пишет автор, граждане Бетерры ожидали продвижения по общественной лестнице. Севиры вербовались не из отпущенников, а, по мнению автора, из «новых богачей». Статуи императоров I—III вв. были найдены не только в храмах, но и на виллах, что, по мнению М. Клавель, свидетельствует об искренней преданности Риму, вере в его вечность и божественность, о благодарности его правителям за достигнутое процветание.

Тема следующей главы — «Сосуществование и синкретизм в мире богов» (под углом зрения слияния римских и местных традиций). Из местных богов в Бетерре засвидетельствованы Матери как индивидуальные или коллективные божества, с эпитетами или без них; Дигены, Медиокрар, Трикория или Рикория, Эпона, трехрогий бык. Некоторые из них известны и в других районах Галлии, другие уникальны. Посвящения I—II вв., судя по именам дедикантов, сделаны представителями низших сельских классов. Однако до II в. кельтское влияние было сильным и в городах. Из римских богов некоторые, например Марс, встречаются с местными эпитетами. В одной надписи названы два Марса, возможно, божественные близнецы-всадники кельтской и германской мифологии. Распространено было почитание Меркурия, Диониса, Венеры, Аполлона, имевшего храм на форуме. В топонимике также сохранились имена богов: Ардуинны, Борво, Цирция, Диванна, Гранна, Майи, Юоны, Матерей, Марса, Венеры и др. Более половины наименований местностей восходят к именам туземных богов. В некоторых из раскопанных их святилищ культ продолжался с эпохи Гальштатта до конца Империи. Такая живучесть культа местных богов в одной из первых римских колоний, по мнению автора, весьма удивительна.

В главе «Контрасты провинциального общества» рассматривается этнический состав населения по данным ономастики. Влияние кельтской традиции сказывалось не только в живучести кельтских имен, но и в том, что местный уроженец хотя и мог носить латинское имя, но одно, а не три, причем со временем процент надписей с одним именем значительно возрастает, параллельно с возрастанием числа кельтских имен в других районах Галлии. М. Клавель видит в этом прогресс местного населения, в частности из сельских районов, знакомившихся с латинским языком и грамотой. Важно отметить, что лица с одним именем здесь не рабы. Видимо, и в других областях Империи неправомерно, как это делают некоторые исследователи, причислять всех людей с одним именем к несвободнорожденным. Надписей рабов в Бетерре найдено

всего пять, но имеются еще упоминания о рабах на сельской территории. Некоторые из рабов носили туземные, некоторые латинские и греческие имена. Надписей отпущенников больше от I в. (17% всех надписей), меньше от II в. (10,5% надписей) и вовсе нет от III в. Многие имена туземцев, имевших римское гражданство, восходят к именам наместников конца I в. до н. э. и легатов Цезаря, от которых они или их предки получили гражданство. Профессий горожан надписи почти не упоминают. Интересно, что в III в. появляются эвергеты города, видимо, местные богатые люди. Городские магистраты были владельцами имений, где они жили часть года и где их обычно хоронили. Раскопки villas показывают, что они сильно различались по размерам и обстановке. Некоторые были велики и роскошно отделаны, с обширными хозяйственными постройками. К ним примыкали бедные некрополи с погребениями, иногда сгруппированными, но по большей части изолированными, содержащими несколько монет и сосудов. Многие villas существовали с I по V в., причем к концу Империи роскошь некоторых из них возросла. По мнению М. Клавель, в Бетерре, как и во всей Империи, для людей, способных к делам и преданных правительству, было достаточно возможностей продвигаться вверх по ступеням социальной иерархии. Романизация шла очень быстро и в той или иной степени затронула все слои, не приведя в то же время к забвению местных традиций. С точки зрения М. Клавель, быстрота романизации объяснялась превосходством переселившихся в провинцию италиков в социально-экономической и культурной сферах, а также тем, что галлам была предоставлена возможность приобщиться к достижениям и образу жизни Рима. Так сложился класс богатой провинциальной «буржуазии», всецело преданной Риму.

Как мы видим, М. Клавель принадлежит к тому направлению историков, которые склонны чрезмерно высоко оценивать результаты римского влияния в покоренных странах и идеализировать римский социально-политический строй, как обеспечивавший высокую социальную мобильность, дававший якобы возможность способным людям выбиться в верхи. Характерно, что даже в главе, названной «Контрасты провинциального общества», автор почти не уделяет внимания низшим классам. Лишь бегло упоминаются надписи рабов и отпущенников и столь же вскользь сельские трудящиеся слои. Между тем самая приверженность последних к культам местных богов, сохранявшаяся даже в период христианизации, позволяет усомниться в их преданности римским порядкам, так как в религиозных верованиях эксплуатируемых часто скрывалась их более или менее осознанная оппозиция идеологии, распространенной среди эксплуататорских классов. Характерно и распространение культов коллективов божеств, обычно связанных с более или менее значительными пережитками общинной организации (независимо от того, сохраняли ли общины свободу или попадали в зависимость от крупных землевладельцев, оставшихся, по меткому выражению Д. Уилкса, для своих соплеменников теми же принцепсами, какими некогда были их предки). Распространенность при villas «бедных некрополей» с изолированными погребениями дает возможность предположить, что здесь преобладал труд бывших клиентов, превратившихся в колонов, имевших свои хозяйства, тогда как коцентрированные погребения скорее могли принадлежать жившим при вилле рабам. Преобладание первых над вторыми, возможно, свидетельствует и о преобладании труда колонов, и было бы весьма интересно попытаться проследить, с какими (по размерам и этнической принадлежности владельцев) villas связан тот и другой тип погребений. Такая попытка могла бы до некоторой степени помочь выяснить динамику развития и упадка разных типов хозяйств. Что упадок некоторых из них имел место и что благополучие в Бетерре не было столь велико во все века Империи, как старается представить М. Клавель, позволяет полагать появление в III в. эвергетов — симптом, всегда указывавший на выделение землевладельческой верхушки за счет обеднения части мелких и средних землевладельцев, попадавших в зависимость от богатых магнатов, подчинявших своему влиянию также небольшие, ослабевшие города.

Ни М. Клавель, ни Д. Уилкс не проводят четкой разницы между античным городом в собственном смысле этого слова и территориями, на которых, может быть, сущест-

вогали местные поселенцы, получившие статус городов, но не ставшие античными гражданскими общинами, полисами, а следовательно, не подвергшиеся романизации в социально-политическом смысле, хотя культурная романизация и могла в той или иной мере распространиться на них. У Д. Уилкса, правда, разница между этими типами городов, хотя он особо на ней не останавливается, гораздо более ощутима. У М. Клавель вовсе стирается различие между сосуществовавшими социально-экономическими укладами; так, говоря о процветании территории Бетерры в эпоху домината, она исходит из богатства и роскоши некоторых крупнейших вилл и соответственных данных авторов о тамошних магнатах, которые обычно отнюдь не принадлежали к слою муниципальных собственников. Вряд ли их благосостояние может свидетельствовать о процветании всего района в целом. Преувеличенным представляется и утверждение о всеобщей преданности императорам. Обязательное для всех жителей Империи отправление императорского культа еще не свидетельствует об истинных настроениях тех или иных социальных слоев. Если данные для дифференцированного рассмотрения социальной психологии и идеологии различных классов и социальных групп отсутствуют, то осторожнее было бы воздержаться от слишком категоричных суждений.

Д. Уилкс, к сожалению, вообще обошел духовную жизнь изучаемой им провинции, лишь попутно упоминая посвящения туземным богам и памятники, свидетельствующие о кельтской и иллирийской традициях и их взаимовлиянии.

Независимо от большей или меньшей убедительности тех или иных наблюдений авторов, книги их представляют значительный интерес. Они дают богатый материал, подтверждающий на примере изученных авторами областей, насколько важно при анализе отношений в римских провинциях иметь в виду взаимодействие римских и местных элементов, тщательно учитывая, на каком уровне социально-экономического развития стояли те или иные племена и народы к моменту римского завоевания. До последних десятилетий, пока в центре внимания стояли Рим и романизация (при этом в основном политическая и культурная), эта проблема отодвигалась на задний план. Теперь она начинает играть все большую роль в исследованиях не только марксистских, но и немарксистских историков (хотя последние и не уделяют должного внимания четкой дифференциации форм собственности и эксплуатации, представляющих для марксистов отправной пункт дальнейшего анализа).

Монографии Д. Уилкса и М. Клавель, хотя сами авторы соответственных выводов и не делают, показывают, насколько различными были результаты взаимодействия римских и местных отношений в зависимости от того, достигли ли или нет ко времени римского завоевания местные племена стадии формирования классового общества и государства при больших или меньших элементах сохранения общины разных типов. В первом случае племенная знать довольно быстро романизуется, вливаясь в господствующий класс Империи, и римский строй жизни во всех его проявлениях настолько укореняется, что значительные его пережитки сохраняются и после падения римского владычества. Позиции местной аристократии относительно (и прежде более или менее зависимых от нее) земледельцев, организованных в общины или нет, чрезвычайно усиливаются благодаря ее приобщению к высшим сословиям Империи. Общее же развитие социально-экономических отношений, в частности товарности производства и рабства, стимулирует усиление эксплуатации и зависимости мелких земледельцев. С упадком античного рабовладельческого способа производства и соответственно античного города земельные магнаты, ряды которых пополнялись и за счет верхушки муниципальной знати, подчиняли своему влиянию не только села, но и небольшие города. Процесс зарождения и развития феодальных элементов шел здесь в наиболее чистом виде и наиболее быстрыми темпами.

Напротив, там, где первобытно-общинный строй еще процветал, где ко времени римского завоевания социальная дифференциация не успела зайти далеко, романизация шла прежде всего за счет притока италийцев и не имела глубоких корней. Основанные главным образом для италийских переселенцев города оставались более или менее чужеродными образованиями и значительно быстрее приходили в упадок, видимо

в силу тех или иных изменений общей конъюнктуры. В упадок приходили и семьи размещенных в них колонистов и их рабовладельческие, римского образца, хозяйства. Распространению античного рабства мешала крепкая община. Но, видимо, можно предположить, что под влиянием соприкосновения с античными рабовладельческими и товарно-денежными отношениями, возможностями, открывавшимися на военной службе, и т. п. внутри общин шла дифференциация, выделялись мелкие и средние поссессоры, с одной стороны, обезземеленные арендаторы, с другой. Частично беднота, возможно, попадала в кабалу и рабство доримского характера. Хотя кое-кто из туземной знати достигал высоких рангов, крупное землевладение большой роли не играло, процесс феодализации шел медленнее и, вероятно (в соответствующих районах Далмации, как и в некоторых иных сходных областях), не столько за счет закрепощения колонов земельными магнатами, сколько за счет подчинения общинников влиянию выделившейся из их же среды верхушки. Возможно, такой путь объясняет позднюю дату известного закона о закрепощении колонов Иллирика, а также особенности этого закона и чрезвычайно острую классовую борьбу крестьян в этих и аналогичных по своей социально-экономической структуре областях в эпоху домината.

Другой вывод, который можно сделать на основании рецензируемых, как и ряда других работ, относится к общему положению в Империи в последние века ее существования. По-видимому, широко распространенное представление о повсеместном полном упадке с середины III в. нуждается в некотором пересмотре и уточнении: наряду с упадком одних районов и хозяйств наблюдается подъем других. В общей форме мы можем полагать, что дело идет о разных укладах, разных социальных слоях. Но в каждом конкретном случае, очевидно, следует детально выяснять, какие именно уклады и связанные с ними социальные слои и по каким именно причинам переживали кризис и упадок, или напротив, подъем. Что то были далеко не всегда одни и те же слои, видно на примере территории Бетерры и глубинных районов Далмации: в первом случае процветали в III—V вв. крупнейшие землевладельцы из более или менее старинных римских и галло-римских семей, во втором — владельцы сравнительно небольших имений из числа недавно получивших римское гражданство местных уроженцев.

Таким образом, богатый материал, содержащийся в книгах Д. Уилкса и М. Клавель, ценен как с познавательной точки зрения, так и благодаря тому, что лишний раз подчеркивает важность упомянутого выше направления в методологии изучения римских провинций и процесса феодализации римской Империи, т. е. анализа взаимодействия более или менее константного римского элемента с различными многообразными вариантами отношений в провинциях и их отдельных областях.

Е. М. Штаерман

ИЗУЧЕНИЕ ИСТОРИИ ДРЕВНЕГО РИМА ЦАРСКОЙ И РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЭПОХ В ПОСЛЕВОЕННОЙ ИТАЛЬЯНСКОЙ ИСТОРИОГРАФИИ

Оценивая путь, пройденный итальянским антиковедением с 1945 по 1967 г., Арнальдо Момильяно, давно и серьезно занимающийся историографическими проблемами, выдвинул задачу «деколонизации» итальянской науки¹, понимая под этим словом освобождение от непререкаемого авторитета немецких специалистов, от «диктатуры Моммзена» и его коллег, превративших итальянскую науку в свою духовную «колонию». Не входя в спор о том, насколько удачен примененный термин, отметим, что

¹ А. Момильяно, *Storia gresca*, в сб. «La storiografia italiana negli ultimi vent'anni», Milano, 1970, стр. 3—18. Книга вышла через два года после национального конгресса в Перудже, ставившего своей целью осмысление пути, пройденного послевоенной итальянской исторической наукой. Историографические исследования А. Момильяно обобщены также в сборниках его статей «Contributo alla storia degli studi classici», Roma, 1955; «Studies in Historiography», L., 1966; «Terzo contributo alla storia degli studi classici e del mondo antica», Roma, 1966.